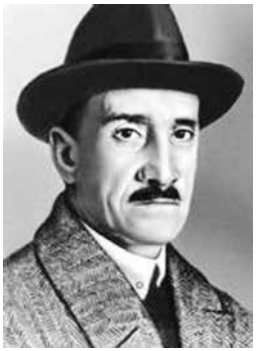
А. С. ГРИН
(1880 – 1932)



АЛЫЕ ПАРУСА
Повесть-феерия[55]

Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор
Пбг, 23 ноября 1922 г.

I
Предсказание

Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трёхсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда ещё издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо неё, у детской кроватки – нового предмета в маленьком доме Лонгрена – стояла взволнованная соседка.

– Три месяца я ходила за нею, старик, – сказала она, – посмотри на свою дочь.

[55] *Феерия* – жанр, использующий волшебные элементы.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

– Когда умерла Мери? – спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы – будь теперь они все вместе, втроём – был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорождённой; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила её на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идёт в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

– У нас в доме нет даже крошки съестного, – сказала она соседке. – Я схожу в город, и мы с девочкой перебьёмся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лиссе к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесёт ливень».

Взад и вперёд от приморской деревни в город составляло не менее трёх часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, – сказала она, – и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя

изморось сразила её двухсторонним воспалением лёгких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, – прибавила она, – без такого несмышлёныша скучно.

Лонгрен поехал в город, взял расчёт, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твёрдо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам всё делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки – искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов – словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал ещё замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» – на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намёками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена – игрушки – менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе – Меннерс не мог бы

похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал всё мягче и мягче улыбаться, посматривая на её нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застёгнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие рёвостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд тёмных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького тёплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнажённое у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к чёрному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далёкому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлётов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, – так силён был его ровный пробег, – давали измученной душе Лонгрена ту притуплённость, оглушённость, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьётся под мостками о сваи, ломая борта, пошёл и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошёл по мосткам до середины, спустился в бешеноплещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Вёсла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен ещё спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел свёрток каната с вплетённым в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

– Лонгрен! – закричал смертельно перепуганный Меннерс. – Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул её из рта, чтобы лучше видеть происходящее.

– Лонгрен! – взывал Меннерс. – Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошёл ближе к самому краю мола, чтобы

не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, – донеслось к нему глухо, как с крыши – сидящему внутри дома, – спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул: «Она так же просила тебя! Думай об этом, пока ещё жив, Меннерс, и не забудь!»

Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошёл домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошёл к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

– Спи, милая, – сказал он, – до утра ещё далеко.

– Что ты делаешь?

– Чёрную игрушку я сделал, Ассоль, – спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесённое Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, – им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Меннерсу – большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или ещё чем иным своё торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они – поступил

внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей её возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз – навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путём внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец её ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные её попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но всё ещё иногда спрашивала отца: «Скажи, почему нас не любят?» – «Э, Ассоль, – говорил Лонгрен, – разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». – «Как это – уметь?» – «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, – забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях – лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, – диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты – словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. – «Ну, говори ещё», – просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. «Эх, вы, – говорил Лонгрен, – да я неделю сидел над

этим ботом. – Бот был пятивершковый. – Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил бельё и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил её читать и писать. Он стал изредка брать её с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лиссе лежал всего в четырёх верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но всё-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал её в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для неё: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое судёнышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шёлка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают – игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашёл подходящего материала для паруса, употребив что было – лоскутки алого шёлка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный весёлый цвет так ярко горел в её руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу её на воду поплавать немного, размышляла Ассоль, – она ведь не промокнет, я её потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее её судно;

паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лёг дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. «Ты откуда приехал, капитан? – важно спросила Ассоль воображённое лицо и, отвечая сама себе, сказала: – Я приехал... приехал... приехал я из Китая. – А что ты привёз? – Что привёз, о том не скажу. – Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта – далёким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», – подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что её где-нибудь прибьёт к берегу. Поспешно таща не тяжёлую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, Господи! Ведь случись же...» – Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь всё чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с её пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к тёмным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-ф-у-уу», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край жёлтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает её с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он поднимет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть ещё ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком – выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

– Теперь отдай мне, – несмело сказала девочка. – Ты уже поиграл. Ты как поймал её?

Эгль поднял голову, уронив яхту, – так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал её, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Её тёмные густые волосы,

забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полёт ласточки. Тёмные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

– Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, – сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. – Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

– Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

– У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трёхвершковым валом – между моей левой пяткой и оконечностью палки. – Он стукнул тростью. – Как зовут тебя, крошка?

– Ассоль, – сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

– Хорошо, – продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблёскивала усмешка дружелюбного расположения духа. – Мне, собственно, не надо было спрашивать твоё имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имён, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живёшь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе – хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

– Лодочки, – сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, – потом пароход да ещё три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

– Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала – ведь так?

– Ты разве видел? – с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. – Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

– Я это знал.

– А как же?

– Потому что я – самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: её напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь – девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись её глаза, сделал крутой вольт.

– Тебе нечего бояться меня, – серьёзно сказал он. – Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. – Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, – решил он. – Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет».

– Ну-ка, – продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству – следствие всегдашней работы – была сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), – ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне – откуда ты, должно быть, идёшь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова. Подумав, он продолжал так: – Не знаю, сколько пройдёт лет, – только в Каперне расцветёт одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под

солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберётся народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там. Корабль подойдёт величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывёт от него быстрая лодка. – «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» – спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. – «Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет всё, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слёз и печали». Он посадит тебя в лодку, привезёт на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звёзды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

– Это всё мне? – тихо спросила девочка. Её серьёзные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. – Может быть, он уже пришёл... тот корабль?

– Не так скоро, – возразил Эгль, – сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? – это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

– Я? – Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. – Я бы его любила, – поспешно сказала она, и не совсем твёрдо прибавила: – если он не дерётся.

– Нет, не будет драться, – сказал волшебник, таинственно подмигнув, – не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

II
Грэй

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов – серебристо-голубых, фиолетовых и чёрных с розовой тенью – извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединённых железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть – воображаемое продолжение галереи – начиналась маленьким Грэем, обречённым по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость... мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грэе ещё тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, то есть попросту замазал их голубой

краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлечённый своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

– Зачем ты испортил картину?

– Я не испортил.

– Это работа знаменитого художника.

– Мне всё равно, – сказал Грэй. – Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашёл стальной рыцарский хлам, книги, переплетённые в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса[56]. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний тёмный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетёных корзинках пузатые бутыли зелёного и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде – плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало её последним лучом.

В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегчённым сердцем, так как невольные слёзы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

---

[56] *Лафит, мадера, херес* – сорта вин.

– Ну вот что, – говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, – видишь ты это место? Там лежит такое вино... В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечёт из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки чёрного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал её «Рай», и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путём невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, – так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесёт несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении...

– Кажется, опять каплет из крана, – перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. – Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдём, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!» Как понять? Выпьет, когда умрёт, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьёт ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих пёрышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с лёгким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой – на небе. Есть ещё третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьётся до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись ещё раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

– Эти бочки привёз в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

– Я выпью его, – сказал однажды Грэй, топнув ногой.

– Вот храбрый молодой человек! – заметил Польдишок. – Ты выпьешь его в раю?

– Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? – Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твёрдых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. – Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнём очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; весёлые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пёстрые куры: там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там – репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают тёмные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчётливую,

скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был ещё так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как её ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слёзы неудержимо катились по её круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

– Очень ли тебе больно? – спросил он.

– Попробуй, так узнаешь, – ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать, кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошёл к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

– Мне кажется, что тебе очень больно, – сказал он, умалчивая о своем опыте. – Пойдём, Бетси, к врачу. Пойдём же!

Он усердно тянул её за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда всё, что

составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в её комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твоё. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребёнку была, надо полагать, единственным клапаном тех её склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли её, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казённого здания, лишая её банальных достоинств; глаз видит и не узнаёт помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чьё лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишённое женственного притяжения, – эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге – их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чём бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему всё: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил – не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощённо занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец – в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своём мире. Он играл один – обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, тёрна и скромнопёстрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шёл уже двенадцатый год, когда все намёки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада – просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол – во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, всё – в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Её высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защёлка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил

Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стёкол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Тёмные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там – раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там – свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали; здесь – чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплётов, грубых, нежных, чёрных, пёстрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стёкол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключённый в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображён в последнем моменте взлёта. Корабль шёл прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обречённо боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала всё положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего собственно не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращённого к чему-то

на палубе, невидимой зрителю. Завёрнутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и чёрная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нём капитана, танцующее положение тела – взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощён опасным моментом и кричал – но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошёл, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Всё это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлёбываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там ещё корабли-пираты, с чёрным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуг и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчинённых магическим знанием, благодаря которому уверенно шёл, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки – в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с её книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твёрдой груди. Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть – для настоящего

и будущего – проиграл в карты. Он хотел быть «дьявольским» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купаньи, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял всё, кроме главного – своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил тёмным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: – «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть её дома одеколоном „Роза-Мимоза”». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображённую отповедь, он вслух повторял: «Да. Ступайте к „Розе-Мимозе”».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану всё реже и реже, так как Грэй шёл к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится всё легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлёй якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что

ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею[57] парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрёпанную книгу, сказал: «Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана».

И он стал читать – вернее, говорить и кричать – по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слёз и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты видела, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я; приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я всё, в твоём письме я нашёл бы, кроме любви и чека, – улыбку...» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок. Всё было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; её узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошёл в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в чёрном платье. Она стояла перед распятием: её страстный шёпот был звучен, как полное

[57] *Рея* – горизонтальная балка, закреплённая посередине мачты.

биение сердца. – «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и пленённых», – слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: – «и мальчику моему...» Тогда он сказал: – «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности её тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращённой юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слёзы в глазах – вот всё. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. – «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упрёков и возражений, но про себя – во всём, что он утверждал, как истину своей жизни, – видела лишь игрушки, которыми забавляется её мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, – здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, – теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошёл прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели всё, что было на буфете и в кухне.

Прошло ещё мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над чёрной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трёхмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плавал ещё четыре года, пока судьба не привела его в Лиссе. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвёрдую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.

III
Рассвет

<...> Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развёл костёр на обрыве. Двинулись тени и отражённое водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

– Ну-ка, – сказал он, протягивая бутылку, – выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

– Простите, капитан, – ответил матрос, переводя дух. – Разрешите закусить этим... – Он отгрыз сразу половину цыплёнка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: – Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную. Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал: – Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

– Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

– А вы?

– Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды:

– Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. – Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. – Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался – и его сомы съедят.

Наконец, он ушёл с пением:

– Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селёдка, – удит Летика с горы!

Грэй лёг у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал,

но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намёкам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображёнными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом всё живо и выпукло и всё бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» – не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затёк. Бледно светились звёзды, мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам – что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди этих ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва – с впечатлением, что под самой спиной Грэя – шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струёй дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летики не было; он увлёкся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зелёный мир дышал

бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пёстрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвёл рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Её волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого тёмной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу...

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел её. Всё стронулось, всё усмехнулось в нём. Разумеется, он не знал ни её, ни её имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; её содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй всё ещё сидел в той же малоудобной позе. Всё спало на девушке: спали тёмные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости её тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошёл в его тёплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: – «Капитан, где вы?» – но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением... Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув ещё раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса...

– А, это ты, Летика! – сказал Грэй. – Посмотри-ка на неё. Что, хороша?.. Тише, Летика. Уберёмся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шёл сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал: – Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир? – Должно быть, вон та чёрная крыша, – сообразил Летика, – а, впрочем, может, и не она.

– Что же в этой крыше приметного?

– Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле неё чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплёт окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана – разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.

В то время как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин

самодовольно уселся на кончик стула, польщённый этим обращением и польщённый именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

– Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, – спокойно заговорил Грэй. – Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, тёмнорусой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил её неподалёку отсюда. Как её имя?

Он сказал это с твёрдой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал – единственно из бесплодного желания догадаться, в чём дело.

– Гм! – сказал он, поднимая глаза в потолок. – Это, должно быть, «Корабельная Ассоль», больше быть некому. Она полоумная.

– В самом деле? – равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. – Как же это случилось?

– Когда так, извольте послушать. – И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил её бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. – С тех пор так её и зовут, – сказал Меннерс, – зовут её «Ассоль Корабельная».

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар – одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнёсся клинически. Удивительные черты её лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете её взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись – Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал: «Ещё могу сообщить вам,

что её отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости Господи. Он...»

Его перебил неожиданный дикий рёв сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!..

– Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! – закричал Меннерс. – Уходи вон!

Но только бойся попадать
В наши Палестины!.. –

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущённо пожал плечами.

– Дрянь, а не человек, – сказал он с жутким достоинством скопидома. – Каждый раз такая история!

– Более вы ничего не можете рассказать? – спросил Грэй.

– Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и ещё дитёй должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание.

– Ты врёшь, – неожиданно сказал угольщик. – Ты врёшь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. – Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю. – Он врёт. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идёт пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у неё хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая,

но причудливый её разговор. Прислушиваешься – как будто всё то же самое, что мы с вами сказали бы, а у неё то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о её ремесле. – «Я тебе что скажу, – говорит она и держится за моё плечо, как муха за колокольню, – моя работа не скучная, только всё хочется придумать особенное. Я, – говорит, – так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: – «Ну, Ассоль, это ведь такое твоё дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». – «Нет, – говорит она, – я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». – «Ну, а я?» – «А ты? – смеётся она, – ты, верно, когда наваливаешь углём корзину, то думаешь, что она зацветёт». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дёрнуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врёт и денег не берёт; я его знаю!

Считая, что разговор перешёл в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился: – Прикажете подать что-нибудь?

– Нет, – сказал Грэй, доставая деньги, – мы встаём и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернёшься к вечеру и будешь молчать. Узнав всё, что сможешь, передай мне. Ты понял?

– Добрейший капитан, – сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, – не понять этого может только глухой.

– Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже моё имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, – одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел

им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх – знойному солнцу, – как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

IV
Накануне

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свои товары она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

<...> Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкафу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обёртки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чём, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, – был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на своё отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отражённой комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешёвый белый муслин с розовыми цветочками. На её плечах лежала серая шёлковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьёзные для её возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Её неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний;

каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль – был совершенно оригинален, – оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отражённая девушка улыбнулась так же безотчётно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось её отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьёт, посмотрим на неё ближе – вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая – живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных её опыту, но сверх общих явлений видела отражённый смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением – определённо человеческое, и – так же, как человеческое – различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она ещё сверх видимого. Без этих тихих завоеваний всё просто понятное было чуждо её душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путём своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирнотонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда – и это продолжалось ряд дней – она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и всё, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьёзно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для неё счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из её власти и обаяния.

<...> Меж тем, как её голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвёртывать рубец и класть петельный шов с отчётливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.

Её не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была всё ещё той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: – «Здравствуй, Бог!», а вечером: – «Прощай, Бог!».

По её мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы Он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по её мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждёт захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось лёгким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. <...> Сна не было, как если бы она не засыпала совсем.

<...> Взяв старенькую, но на её голове всегда юную шёлковую косынку, она прихватила её рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. <...> Она шла, чем далее, тем быстрей, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополя и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая чёрная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча

соглашаясь с девушкой в чём-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в её сообщительные глаза, была твёрдо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у неё тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперёд, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над её метёлками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению.

Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намёки – позы, усилия, движения, черты и взгляды; её не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, ёж, серея, выкатился перед ней на тропинку. – «Фук-фук», – отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. – «Здравствуй, больной, – сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червём. – Необходимо посидеть дома», – это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдёрганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. – «Стряхни толстого пассажира», – посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окружённая теперь истинными своими друзьями, которые – она знала это – говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас,

братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили её чем могли – листьями – и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землёй, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала её взглядом за горизонт, откуда лёгким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведённое по горизонту золотой нитью, ещё спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и чёрный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На чёрной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, – глазами ребёнка. Всё, чего она ждала так долго и горячо, делалось там – на краю света. Она видела в стране далёких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шёл прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что ещё нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была ещё во власти её звонкого хора. Это впечатление постепенно

ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула – по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Её разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрёпанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но считая его не более, как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На её пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом, – своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. «Чья это шутка? Чья шутка? – стремительно вскричала она. – Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зелёные заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озарённом море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своём, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она – всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так, – случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, – Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

V
Боевые приготовления

<...> Теперь он (Грэй) действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная всё, что предстоит на чудном пути. Каждое

движение – мысль, действие – грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своём прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашёл образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьёзен, как анатом. Он терпеливо разбирал свёртки, откладывал, сдвигал, развёртывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в лёгком сопротивлении шёлка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый тёмный, густые закипи вишнёвых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные – в своём мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» – «прекрасно» – «великолепно» – «совершенно»; в складках таились намёки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твёрдого «да». Наконец, один цвет привлёк обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шёлка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нём не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намёков; не было также ни синевы, ни тени – ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

– Довольно образцов, – сказал Грэй, вставая, – этот шёлк я беру.

– Весь кусок? – почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. – В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

– Две тысячи метров. – Он с сомнением осмотрел полки. – Да, не более двух тысяч метров.

– Две? – сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. – Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи... две тысячи по. – Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чём торговаться. – Удивительный, наилучший шёлк, – продолжал лавочник, – товар вне сравнения, только у меня найдёте такой.

Когда он наконец весь изошёл восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счёт издержки, уплатил по счёту и ушёл, провожаемый хозяином с почестями китайского короля.

<...> Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок – иногда месячных – в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шёлк, ценные породы деревьев: чёрное, сандал, пальму.

<...> – Вы видели, что привезён красный шёлк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда – не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она ещё не жена мне, но будет

ею. Мне нужны алые паруса, чтобы ещё издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и всё. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

– Да, – сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. – Так вот в чём дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

– Благодарю! – Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел – нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. <...>

VI
Ассоль остаётся одна

<...> Ассоль смотрела ему (Лонгрену) вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом лёгкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещённым спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своём отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; всё, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к её ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лиссе. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идёт, но не идти – не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую всё её нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал её молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отражённых брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пёстрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

– Здравствуй, Филипп, – сказала она, – что ты здесь делаешь?

– Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

– Знаешь, Филипп, – заговорила она, – я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

– Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? – изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

– Не знаю. – Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, – зелёную в розовом вечернем свете траву, чёрных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила:

– Всё это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай, – прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную чёрную руку и привела её в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

– Чудеса, – сказал угольщик, – поди-ка, пойми её. – Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

– Верно, – поддержал второй, – не то она говорит, не то – уговаривает. Не наше дело.

– Не наше дело, – сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

VII
Алый «Секрет»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костёр, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет её воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронёсся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далёкое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман ещё не рассеялся; в нём гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в лёгкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, всё было

белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он всё ещё стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шёл руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу – он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

– Теперь, – сказал Грэй, – когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моём больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте – я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чём мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

– Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждёт и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме неё, может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф,

а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, – тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

– Да, капитан. – Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. – Я всё понял. Вы меня тронули...

<...> Некоторое время «Секрет» шёл пустым морем, без берегов; к полудню открылся далёкий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: – «Опять жучишка... дурак!..» – и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнём алого шёлка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы – и выпьем, друзья, за любовь»... – В её простоте, ликуя, развёртывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю,

подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; её ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от неё алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегчённо вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят аффекту знаменитых землетрясений. Никогда ещё большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чём был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Пока её не было, её имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать – яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от неё, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыжённая, счастливая, с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на неё с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего – ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи – она вбежала по пояс в тёплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!»

Тогда Циммер взмахнул смычком – и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором.

От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка – всё двигалось, кружилось и опадало.

Но весло резко плеснуло вблизи неё; она подняла голову. Грэй нагнулся, её руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

– Совершенно такой.

– И ты тоже, дитя моё! – вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. – Вот, я пришёл. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котёнком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», – всё было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня – как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте – в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что всё это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял её руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слёз лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясённый и удивлённый тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давным-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было всё лучшее человека.

– Ты возьмёшь к нам моего Лонгрена? – сказала она.

– Да. – И так крепко поцеловал он её вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдём от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но

всеми ими, даже и отдалённо, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у гротмачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю тёмную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорождённый. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул гранёным стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

– Ну, вот... – сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. – Теперь пейте, пейте все; кто не пьёт, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла всё, что в этом роде происходит на великих праздниках.

– Как понравилось оно тебе? – спросил Грэй Летику.

– Капитан! – сказал, подыскивая слова, матрос. – Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

– Что?!

– Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...